

Н.П. Макаров

**Извлечения и выдержки из
моих семидесятилетних
воспоминаний**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Н11

Н11 **Н.П. Макаров**
Извлечения и выдержки из моих семидесятилетних воспоминаний / Н.П. Макаров – М.: Книга по Требованию, 2016. – 202 с.

ISBN 978-5-458-15026-2

ISBN 978-5-458-15026-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2016

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2016

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

мнѣ высвободиться изъ напущеннаго на меня умственнаго столбняка и стряхнуть съ себя всемертвующую апатию; когда, спѣша наверстать загубленное время, я, въ самый короткий срокъ, задумалъ и исполнилъ изданіе моего перваго лексикографическаго труда («Полный Русско-Французскій Словарь»); даже и тогда, кромѣ двухъ, трехъ органовъ прессы, отозвавшихся сочувственно объ этомъ трудѣ, всѣ остальные хранили гробовое молчаніе, или упоминали вскользь, «для блезиру», какъ обыкновенно упоминаютъ о книженкѣ, обрекаемой на толкучку и на обертки. А въ одной большой газетѣ пытались даже, хоть и неумѣло, умалить, такъ сказать «обмизерить» мой трудъ. О поощреніи къ дальнѣйшей полезной дѣятельности не было и помину, и не заикнулись, за исключеніемъ одной газеты, гдѣ сказали, что не мѣшало бы мнѣ дополнить мой трудъ изданіемъ «Полнаго Французско-Русскаго Словаря». Послѣ этого, какъ не сказать:

«Вотъ наши строгіе цѣнители и судья».

Повторю вопросъ: всегда ли такъ непреодолимо будетъ обаяніе и плутократическое владычество Мамоны надъ міромъ, такъ всеильно на вѣсахъ правосудія извѣстной среды, а часто и цѣлаго общества, что они могутъ заставить чашу съ нѣсколькими золотниками ея, Мамоны, мишурныхъ доблестей и грошевыхъ заслугъ, перевѣсить другую чашу, на которую положено нѣсколько пудовъ чужой и немилой ей, Мамонѣ, правды?

Итакъ: хотя пресса первой половины шестидесятыхъ годовъ и порѣшила, что меня, какъ писателя и общественнаго дѣятеля, слѣдуетъ непремѣнно похѣрить (какая гуманная цѣль!), я все-таки, несмотря на это похѣриванье, сталъ чѣмъ нибудь, хоть и маленькимъ, но все же не совсѣмъ темнымъ человекомъ,—сталъ *лексикографомъ* и, кажется, не безъ пользы для *раціональной международной лексикографіи* и для образованнаго русскаго общества. Могу ли я претендовать теперь и на имя *писателя*, а не *бумаго-марателя*, пусть рѣшатъ этотъ вопросъ теперешніе читатели «Моихъ воспоминаній», и прежніе моей «Задушевной исповѣди», но рѣшатъ внѣ всякихъ тенденцій, эфемерныхъ теорій и увлеченій, безъ лицепрятія и безъ предубѣжденія противъ *не своего прихода*. Знаю только и смѣло утверждаю, что много, цѣлый міръ мыслей, чувствъ, идеаловъ роился и кипѣлъ въ моей душѣ и въ воображеніи лѣтъ двадцать тому назадъ. Сколько плановъ, программъ для разныхъ беллетристическихъ произведеній было набросано мною тогда! Много хорошаго сдѣлалъ и написалъ бы я, еслибы не убили меня тогдашня злонамѣренная не критика, а брань, ругательство и зубоскальство. Не погрузились бы въ продолжительную летаргію и мой умъ, и воображеніе. И затѣмъ тяжесть личныхъ двадцати лѣтъ безотрадной жизни, павшая на мои уже

не молодья плечи, была удвоена ожесточенными нападками на меня журнальнаго міра, и потомъ ледянымъ, мертвящимъ равнодушьемъ и прессы, и публики къ моему первому лексикографическому труду.

Долго страдалъ я молча; долго неизбывныя горе, тоска, оскорбленія, обиды, раскаленнымъ камнемъ лежали на днѣ моей измученной души, жгли, рѣзали, рвали ее; но, въ настоящую минуту, чаша переполнена, горе рвется наружу и, съ несравненно большимъ правомъ, чѣмъ въ 1859 году, я повторю одинъ изъ эпиграфовъ «Задумшевной Исповѣди» и теперешнихъ «Моихъ воспоминаній»:

Пусть будетъ пѣснь твоя дика какъ мой вѣнецъ
 Мнѣ тягостны веселья звуки!
 Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
 Иль разорвется грудь отъ муки.
 Страданьями была упитана она,
 Томилась долго и безмолвно;
 И грозный часъ насталь — теперь она полна,
 Какъ кубокъ смерти яда полный.

«Много, слишкомъ много обвиненій, жалобъ, стонъ и слезъ», быть можетъ скажете вы, читатель, по прочтеніи этого вступленія. Да, много, очень много; а сколько еще будетъ ихъ въ остальныхъ книгахъ этихъ *Воспоминаній*. Тамъ цѣлыя страницы написаны слезами. И не разъ, а нѣсколько разъ возвышаю я голосъ съ обвиненіями противъ моихъ гонителей и мучителей. «Что у кого болитъ, тотъ о томъ и говоритъ». Въ свое оправданіе я сдѣлаю параллель.

Представьте себѣ, что у васъ, или у кого изъ вашихъ знакомыхъ воруютъ, въ театрѣ или на гуляньи, кошелекъ съ 20-ю рублями. Вы сердитесь, и даже очень, и ужъ ни какъ не благодушничаете. Рассказываете объ этомъ неприятномъ казусѣ своимъ пріятелямъ, которые тоже не благодушничаютъ, а ругнуть мазурика, вытасчившаго у васъ кошелекъ съ 20-ю рублями. А если украдутъ у васъ 220 р.?... Это уже — событіе, эпоха въ жизни. А ужъ когда украдутъ 2,220 руб., вы пошелите небо и землю. А между тѣмъ вамъ, быть можетъ, только 32, ну пожалуй и 42 года отъ роду. Стало быть много еще дней у васъ впереди, и вы успѣете вернуть свои 2,220 р. и съ лихвою.

А у меня-то, читатель, что пропало? 20 лѣтъ жизни украли у меня, 20 лѣтъ, которыя могъ бы я употребить съ величайшею пользою для общества, и съ величайшею честію для себя. И украли, разсѣяли на всѣ четыре стороны эти 20 лѣтъ; и сдѣлана эта святотатственная покража, если не со взломомъ, то съ приговоромъ, когда мнѣ уже 72 года, и остается только сказать съ покойнымъ Губеромъ:

Я запѣлъ бы смѣло,
 Да не та ужъ доля.
 Уходило тѣло,
 Ослабла воля.

Не строки, и не страницы, а цѣлые томы жалобъ и проклятій такимъ ворами и за воровство того, чего никакіе банкиры, никакіе богачи-милліонеры не могутъ возвратить вамъ. Проклітія за гнусное убійство, за уничтоженіе того, чего ни одинъ властелинъ міра не можетъ дать, что дается однимъ только Творцомъ, и болѣе никѣмъ. Три четверти изъ тѣхъ, которыхъ посылаютъ по Владиміркѣ, не исключая и Юханцевыхъ, и Митрофаній, и инженеровъ Сашекъ, далеко не такъ преступны, какъ тѣ воры и убійцы, которые воруютъ по 20 лѣтъ изъ человѣческой жизни и убиваютъ то, что, какъ сказалъ я выше, можетъ дать одинъ только Творецъ; убиваютъ: умъ, талантъ и вдохновеніе (*).

Ergo: Въ Прологѣ къ «Зад. Исповѣди» говорилъ я о Бомарше слѣдующее: послѣ несправедливо проиграннаго имъ процесса, онъ обратился къ суду общественнаго мнѣнія, который тотчасъ же принялъ его сторону, и такъ явно и энергически, что парламентъ не осмѣлился привести въ исполненіе свой приговоръ, опозорившій Бомарше. А позднѣе этотъ шемякинскій приговоръ былъ скасированъ. Попробовалъ было и я въ 1859 году, написавъ *Задумчивую Исповѣдь*, сдѣлать тоже, что сдѣлалъ Бомарше. Но увы! Мои тогдашніе журнальные судіи нашли пріятнѣе, или удобнѣе, или полезнѣе подражать не общественному, справедливому мнѣнію просвѣщеннаго французскаго общества конца прошедшаго столѣтія, а Шемьякамъ парижскаго парламента. Теперь же, по истеченіи двадцати лѣтъ, я снова обращаюсь къ суду русской интеллигенціи, и повторяю: пусть публика рѣшитъ:

1-е. Точно ли я — жалкая литературная бездарность, ниже всякой посредственности?

2-е. Точно ли я такой дурной, негодный человѣкъ, передъ которыми слѣдуетъ запираеть двери не только всѣхъ гостинныхъ, но и всѣхъ редакцій? А таково было мнѣніе обо мнѣ у журнальныхъ корифеевъ шестидесятыхъ годовъ; да кажется сохранилось оно и по нынѣ. И если найдутся несогласные съ такимъ обо мнѣ рѣшеніемъ и захотятъ утѣшить готовящагося

(*). У меня вошло въ привычку: порой смѣяться сквозь слезы, а иногда и плакать черезъ смѣхъ. Поэтому я и разскажу одинъ анекдотецъ, подходящій къ моему настоящему положенію.

У одного священника готовились на продажу очень вкусные окорока. Однажды обобрали его: стащили изъ кладовой всѣ окорока, штукъ 20. Это такъ поразило и умъ, и воображеніе автора вкусныхъ окороковъ, что съ тѣхъ поръ онъ сталъ обозначать лѣтосчисленіе такъ:

«Лѣта отъ сотворенія міра такого-то, отъ Рождества Христова такого-то, а отъ покражи окороковъ такого-то».

Такъ вотъ видите ли! Если покража вкусныхъ окороковъ такъ трудно забывается, то можно ли легко забыть покражу 20-ти лѣтъ жизни, у которой отнято все, что могло освѣтить ее, согрѣвать, усладить и скрасить?

къ вѣчности страдальца нѣсколькими словами сочувствія, то вотъ мой адресъ:

На углу Невскаго и Знаменской, въ гостинницѣ Николаевской желѣзной дороги, въ 25 номерѣ.

Рождество
1881 года, 4 июня.

ПОСТСКРИПТУМЪ.

Когда-то, въ прошедшемъ столѣтїи, во Франціи, были осуждены и казнены невинные Калась и Лезюркъ. Но это не помѣшало потомъ правдѣ всплыть наверхъ. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды и увлеченія неумолимыхъ и безчеловѣчныхъ страстей разныхъ политическихъ партій были восстановлены во всей ихъ чистотѣ и неповинности. Отчего же не испробовать шансовъ подобнаго пересмотра въ Россіи, въ концѣ XIX столѣтія; пересмотра приговора журнальныхъ Шемякъ начала шестидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе котораго осудили и нравственно казнили меня въ продолженіи трехъ лѣтъ. И неужели, въ дѣлѣ правосудія, нелицепріятія и гуманности, русская публика конца XIX-го столѣтія окажется гораздо ниже публики французской, жившей на рубежѣ двухъ столѣтій: XVIII и XIX-го, или же и вовсе откажется отъ должности—почетныхъ присяжныхъ засѣдателей въ дѣлѣ оправданія оклеветаннаго, осмѣяннаго и осужденнаго на бездѣйствіе мученика своей откровенности и правды? Прибавлю еще: всякое тяжebное, аппеляціонное дѣло требуетъ самаго полнаго собранія и предъявленія всѣхъ актовъ и документовъ, относящихся къ тому дѣлу. Поэтому, къ *Моимъ воспоминаніямъ*, я прибавлю и мою *Задухивную Исповѣдь*, которую, для этой дѣли и перепечатаваю.

С.-Петербургъ, 27 сентября.



Извлеченіе изъ: «Мои Семидесятилѣтнія Воспоминанія».

Mea culpa. (Несу повинную) *).

Въ моемъ обращеніи «ко всей читающей русской публикѣ», я сказалъ между прочимъ: Пусть эти «Воспоминанія» будутъ моею послѣднею, *предсмертною* исповѣдью» (а, быть можетъ, и *посмертною*, потому что, какъ я замѣтилъ выше, мнѣ уже безмала 72 года тяжело испытываемой, измученной жизни, и я могу не дожить до напечатанія послѣдней книги моихъ сказаній).

Итакъ, чтобы сдѣлать мою теперешнюю исповѣдь полною, безъ утаекъ, то, еще разъ посыпавъ пепломъ мою убѣвленную голову, я долженъ покаяться еще въ трехъ... грѣхахъ ли, страстяхъ ли, недостаткахъ ли, или маніяхъ, увлеченіяхъ, которыми не придумаю вѣрныхъ названій, но которыя, начиная съ пятнадцатилѣтняго моего возраста, прошли огненною полоскою черезъ всю мою жизнь и оставили на ней глубокіе слѣды. И даже теперь, на краю моей могилы, не умерли, не исчезли безслѣдно. Зародились эти..., ну хоть маніи, давно, еще во время службы моей въ Варшавѣ, въ гв. Литовскомъ полку, въ 1825 году. Я былъ тогда подпрапорщикомъ и жилъ у дяди, Мичурина, ротнаго командира. Любопытныя, оригинальныя варшавскія жизнь и служба будутъ описаны въ одной изъ будущихъ книгъ «Воспоминаній». Былъ я доволенъ своею жизнію въ столицѣ Польши и, по возможности, счастливъ, или, вѣрнѣе, не былъ несчастливъ. Но только далеко не всегда это было такъ. Вслѣдствіе разныхъ грустныхъ обстоятельствъ и случайностей, о которыхъ я умалчиваю изъ уваженія къ памяти нѣкоторыхъ уже давно почившихъ, приходилось мнѣ иногда переживать страшно тяжелыя, горькія минуты, становилось порою не въ моготу.... Горекъ бываетъ иной хлѣбъ!... Раза три доходило до того, что вдругъ получалъ я такое непреодолимое отвращеніе къ жизни, такое омерзѣніе къ людямъ и къ свѣту Возьему, что отчаяніе совершенно омрачало мой разумъ, отравляло всѣ мои душевныя способности: и я бросался какъ одурѣлый, какъ рехнувшійся, доставать пистолеть, порохъ и пулю, чтобы покончить ра-

*) Глава эта и слѣдующая за нею написаны лѣтомъ вышшняго 1881 г.

зомъ со всею этой пасквильной трагикомедіей, съ этою грязью, которую называютъ жизнію, даромъ, и которую приказываютъ беречь, какъ сокровище. А развѣ можетъ рано оканчиваться человѣческая жизнь, похожая на классъ шулуновъ, которыхъ, во времена оны, порѣшали перепороть всѣхъ безъ исключенія? Разумѣется, что въ этомъ случаѣ гораздо лучше быть первымъ изъ наказуемыхъ, по пословицѣ: «отзвонилъ, да и съ колокольни долой», чѣмъ быть послѣднимъ, т. е. смотрѣть, какъ другихъ раскладываютъ и порютъ, и ждуть, съ замраніемъ сердца и съ мученіемъ нравственной пытки, и своей очереди ложиться.

Увы! къ счастью или несчастью моему, удавалось мнѣ тогда доставать только пуль и пороху, у ротнаго фельдфебеля, подъ предлогомъ — учиться стрѣлять въ цѣль. Съ какою радостію вложилъ я себѣ въ карманъ это опасное приобрѣтеніе! Какъ нѣжно ощущивалъ я его, возвращаясь къ себѣ на квартиру!... Но пистолета нигдѣ не могъ добыть. Ну и откладывалъ отъѣздъ мой «ad patres» до счастливой находки пистолета.... А тамъ молодость, со своими веселыми, заманчивыми улыбками — въ будущемъ и съ разными чарами — въ настоящемъ, склоняется къ изголовью бѣднаго сироты и такъ сладко, такъ утѣшительно, упоительно шепчетъ ему на ухо какія-то любовныя, разжигающія рѣчи; забрасываетъ его какими-то блестящими обѣщаніями, вертитъ передъ его огуманенными горемъ глазами какую-то прелестную, восхитительную игрушку, разукрашенную разноцвѣтными, яркими ленточками, погремушками, бубенчиками, колокольчиками, извѣстными подъ названіемъ мечтаній, надеждъ, ожиданій и вѣровавій золотой молодости, которыя переводятся на практическій и прозаическій языкъ словами — «авось», да «перемелется, все мука будетъ». Очнусь я отъ дурмана-горя, сдѣлаю отчаянное усиліе и выкарабкаюсь изъ стальныхъ колець удава-тоски, вздохну полной грудью и взгляну вверхъ, туда на небо, откуда нисходить самыя лучшія, самыя утѣшительныя надежды на удрученное чело-вѣчество; взгляну и вижу: высоко и широко, до необозримости, раскинутъ надъ моею головою голубой шатеръ неба. И какъ прозрачна лазурь этого шатра! И какъ плавно, величественно катится по этому голубому полю яркое свѣтло дня! Какъ чудно оно блещетъ, какъ животворно оно грѣетъ, не скупится на свои горячіе лучи: и царя, и поденщика, и козявку, и былинку одинаково одарить, осчастливить своими радостными, небесными улыбками; никого не забудетъ, никого не обдѣлится, всѣмъ шлетъ съ царскою щедростію свою лучезарную благодать. И это солнце, этотъ океанъ химическаго, видимаго и ощущаемаго свѣта и тепла, не есть ли представитель, отраженіе того океана незримаго и невеществен-

наго свѣта и тепла, который называется Вѣчною Премудростію и Любовію?

Кто же устоитъ противъ этихъ улыбокъ, противъ этой благодати неба и солнца? Какое горе не стихнетъ, не притупится при видѣ этой роскоши мірозданія?... И пуля и порохъ летать въ сторону: жизнь и надежды снова закипаютъ въ молодой и здоровой груди юноши-сироты.

Вотъ моя первая манія, — *манія самоубійства*. И потому она уже не умирала. Проходило иногда нѣсколько лѣтъ спокойныхъ, и даже вполнѣ счастливыхъ, напр.: съ моею первою женою. Базалось тогда, что манія моя умирала; но она только уснула, была на время погружена въ глубокій сонъ... А потомъ, нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ и проснется, и наляжетъ на меня свинцовою горою, и обовьетъ, сдавитъ меня своими стальными кольцами, своею цѣпью удава-тоски и отчаянія. Одинъ изъ страшнѣйшихъ припадковъ этой болѣзни, этого паденія духа былъ предсказанъ мною въ концѣ «Задушевной Исповѣди», и потомъ, вскорѣ по ея напечатаніи и вслѣдствіе описанныхъ въ ней «гуманныхъ» со мною предѣлокъ нѣкоего индивидуума, этотъ припадокъ-ураганъ налетѣлъ на меня и чуть чуть меня не порѣшилъ. Но рука друга (Алексѣя Ал. Одинцова) удержала меня. Случай этотъ рассказанъ, подъ покрываломъ вымысла, въ одномъ изъ моихъ романовъ, когда-то забракованномъ, а теперь напечатанномъ въ «Иллюстрированномъ Вѣстникѣ» за 1880 годъ, подъ заглавіемъ «Поддѣльщики», въ главѣ: «На дорогѣ въ вѣчность», да еще въ статьѣ «Предсмертная Исповѣдь», изданной въ 1867 г., но не для продажи, а для моихъ знакомыхъ. Я всегда прочитывалъ, да и теперь прочитываю, съ особеннымъ вниманіемъ и интересомъ, извѣстія о самоубійствахъ и особенно о самоубійцахъ, словно они мнѣ родные.... Чувствую, что мечъ Дамокла все еще виситъ надъ моею головою. Теперь о другой моей маніи.

Въ томъ же 1825 году случилось мнѣ прочитатъ въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ: въ «Сынѣ ли Отечества, въ Литературныхъ ли Прибавленіяхъ къ... не помню къ Сыну ли От. или къ Сѣверному Архиву»; прочитатъ рассказъ объ одномъ необыкновенномъ поедингѣ. Это происходило въ 1814 году, въ Парижѣ, гдѣ, по взятіи столицы Франціи, стояли наши войска. Поручикъ одного изъ нашихъ гусарскихъ полковъ, нѣкто Телавскій, Геркулесъ ростомъ и силою, рубана какихъ мало, но, съ тѣмъ вмѣстѣ, умный и превосходно воспитанный и образованный, обѣдалъ разъ въ одномъ парижскомъ ресторанѣ. За однимъ съ нимъ столомъ сидѣло человѣкъ десять французскихъ кавалеристовъ. Шелъ общій разговоръ. Французы черезчуръ развернулись и позволяли себѣ раз-

ныя шуточки и насмѣшки, не совсѣмъ изящныя, надъ русскими офицерами. Телавскій, превосходно говорившій пофранцузски, отшучивался очень остроумно и не дозволялъ выбить себя изъ позиціи защитника русской арміи. Но вотъ одинъ изъ французиковъ отпустилъ вдругъ уже черезчуръ плоскую, казарменную и оскорбительную фразу для русскихъ офицеровъ. Телавскій тотчасъ же отвѣчалъ:

— *Cela passe la plaisanterie*: это относится уже прямо къ чести русской арміи, и потому я требую у васъ удовлетворенія.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ. На чемъ же вамъ угодно драться?

— На сабляхъ.

— Согласенъ.

— И я раздѣляю мнѣніе моего товарища и, стало быть, тоже принимаю вашъ вызовъ, — отозвался другой французъ.

— И я тоже, — слышалось со всѣхъ сторонъ, — всѣ десять французовъ вышли драться съ Телавскимъ. Они тутъ же сдѣлали и вынули десять номерныхъ билетовъ, кому начать и въ какомъ порядкѣ продолжать поединокъ.

Отправились за городъ. Встали въ позицію. Дуэль началась. Разъ, два, три, и французъ, тяжело раненый, падаетъ. Становится противъ Телавскаго другой: послѣ трехъ или четырехъ взмаховъ могучей сабли русскаго Геркулеса, падаетъ на землю и другой его противоборець. И такимъ образомъ, поочередно, французики всѣ до послѣдняго, до десятаго *«ont mordu la roussière»*, были искрошены богатыремъ Телавскимъ, который подъ конецъ и самъ свалился, и его покрошили.

Громадно, неописуемо было впечатлѣніе, произведенное этимъ разсказомъ на мое юношеское воображеніе. Я чуть не плакалъ отъ восторга. Вотъ такъ молодець! Съ честью отстоялъ честь русской арміи, «не посрамилъ земли русской и легъ костью». И тогда же зародилась во мнѣ мысль — сдѣлаться похожимъ на Телавскаго. И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе росла и укрѣплялась во мнѣ эта задорная мысль. Но я былъ только подпращорщикъ, да еще пятнадцатилѣтній; а нижній чинъ не считался тогда человѣкомъ въ Варшавѣ. Ну и не разгудяешься. Потомъ вскорѣ послѣ производства моего въ офицеры вспыхнуло возстаніе, а затѣмъ пльнъ, (онъ будетъ описанъ въ 8-й книгѣ «Воспоминаній»), а за нимъ стоянка въ Ораніенбаумѣ, гдѣ и совершился мой дебютъ на поприщѣ дуэльнаго единоборства, т. е. поединокъ съ моимъ товарищемъ, и не на pistolетахъ, а на охотничьихъ ружьяхъ, въ четырехъ только шагахъ и «безъ секундантовъ». Дуэль эта описана въ «Задушевной Исповѣди» въ послѣдней главѣ, названной: «Необыкновенный поединокъ».

Это былъ мой первый и послѣдній дебютъ «нелегальной» расправы, потому что я не сдѣлался бретеромъ: это было не въ моемъ характерѣ, претило моей натурѣ, «моему незлобію». За то былъ «хоть разъ, да гораздѣ». Но вызывать вызывалъ, каюсь, и не разъ, и даже порою, по двое вдругъ. Но дѣло кончалось всегда безъ послѣдствій, однимъ извиненіемъ, потому что кровавой обиды не было, а такъ себѣ, недостатокъ у кого нибудь вѣжливости, безтактности. Но на ногу наступить мнѣ безнаказанно никогда и никому не позволялъ. И вотъ прожилъ я болѣе семи десятковъ лѣтъ, а ни одной исторіи (кромѣ вышеупомянутаго дебюта) никогда ни съ кѣмъ не имѣлъ, несмотря на мою болѣзненную щекотливость и вспыльчивость; не имѣлъ потому что, во первыхъ: я всегда тщательно избѣгалъ не только знакомства, но даже и встрѣчь съ людьми грубыми, необразованными, буйными, скандалистами; во вторыхъ: всегда и совѣми былъ чрезвычайно вѣжливъ; вѣдь вѣжливость-то свой, домашній продуктъ, который ничего не стоитъ и на который не наложено ни пошлины, ни акциза. Если крестьянина повлочится мнѣ на улицѣ, я всегда ему откланиваюсь, чтобы не сказали: «мужикъ-то вѣжливѣе Макарова». Въ третьихъ: никогда никого не задиралъ я, ни надъ кѣмъ не подтрунивалъ: ненавидѣлъ это; и напротивъ: всегда заступался за тѣхъ, надъ которыми подтрунивали; заступался за каждаго «униженнаго и оскорбленнаго». Но каюсь: и теперь, когда я смотрю въ могилу, и на самомъ краю этой могилы, я никому не позволю наступить себѣ на ногу, потому что и самъ никому не наступлю.... Что жъ дѣлать: «Какое въ колыбельку, такое и въ могилку». Но неужели за это слѣдуетъ побить меня камнями, или бросать въ меня пригоршня грязи, какъ двадцать лѣтъ тому назадъ?

Наконецъ вотъ и третья моя «манія», которую можно назвать «генералобоей или аристократобоей». Имѣете ли вы, любезный читатель, понятіе о варшавскихъ генералахъ двадцатыхъ годовъ? Какіе они были тогда въ Петербургѣ, я не вѣдаю, но про варшавскихъ могу поразказать кое-что. Если вы вздумаете судить о нихъ по теперешнимъ генераламъ, то жестоко ошибетесь. Теперешніе, хоть и не безъ важности, а иные и не безъ величественности, но все-таки это люди, чловѣки; и хотя не всегда и не во всемъ, но все-таки походятъ на остальныхъ смертныхъ. Но тогдашніе, но варшавскіе?... О, это были не люди, не чловѣки, куда! Поднимай выше. И не герцоги, и не принцы крови: поднимай выше. Это были даже не полубоги, а настоящіе, какъ есть, боги съ Олимпа, хотя и плохенькаго, но все-таки съ Олимпа. И хотя иные изъ нихъ и «лыкомъ шитые» (по собственному сознанию одного

изъ тогдашнихъ тамошнихъ генераловъ, о чемъ я расскажу ниже), но все-таки боги. Таковыми они себя воображали, и таковыми казались десятидесятымъ изъ жителей Варшавы. Что нынѣшніе петербургскіе генералы въ сравненіи съ тогдашними? Еслибы примѣрно взять и выжать всю важность изъ десяти нынѣшнихъ генераловъ всѣхъ классовъ, отъ 4-го до 2-го включительно, то количествомъ, — а не качествомъ, разумѣется, — эта десятигенеральская важность была бы гораздо меньшаго объема и вѣса, чѣмъ важность, выжатая изъ одного какого нибудь генераль-маіора тогдашнихъ временъ, хотя бы и «лыкомъ шитаго». Нынѣшній генераль и цѣсть и ѣсть, и смотреть и говорить, и сидитъ и ходить, точно также, или почти также какъ и остальные смертные. А варшавскій-то? «И пилъ, и ѣлъ иначе». А смотрѣлъ-то какъ? То Юпитеромъ громовержцемъ, то Емелькой Пугачевымъ, то Александромъ Македонскимъ, по меньшей мѣрѣ, а иной просто заплечнымъ мастеромъ. Съѣсть, проглотить глазами не только каждаго нижняго чина, но и любого оберъ-офицера. А ужъ какъ ходилъ-то... что я, ходилъ!... Шествовалъ, плылъ онъ по стогнамъ варшавскимъ, аки по волнамъ морскимъ. И носъ, и плечи, т. е. генеральскіе эполеты, поднимались высоко, высоко кверху, туда, въ высь, къ «отчизнѣ молній», по выраженію покойнаго Бенедиктова, «поелику» и самъ то онъ, т. е. варшавскій генераль, а не Бенедиктовъ, былъ въ нѣкоторомъ родѣ молніеноснымъ. Краса человѣчества, чудо природы, перлъ созданія. Казалось: и солнце, и мѣсяцъ, и звѣзды, и даже кометы, съ удивленіемъ, съ умиленіемъ взирали съ своихъ эфирныхъ высотъ на этого «перла созданія»; взирали, любовались и млѣли отъ восторга.... Вотъ въ эту-то самую допотопную, ультра-генеральскую эпоху и зародилась во мнѣ, какъ я называлъ выше, «генералофобія», усиленная позднѣе «аристократофобіей». Я, нижній чинъ, страшно боялся встрѣчь съ этимъ перломъ созданія, съ этимъ олимпійскимъ богомъ, боялся такого Олимпійца, даже и лыкомъ шитаго; чтобы не быть проглоченнымъ, или, по меньшей мѣрѣ, не сгорѣть, не испепелиться отъ ослѣпительно яркихъ и жгучихъ лучей его генеральской славы и превосходительнаго величія. Не боялся я только — взирать на него порою такъ, какъ взиравъ когда-то Моисей, на горѣ Синайской, на Творца, — въ «задніе».... Да, могъ взирать и я безъ самоуничтоженія только на генеральское «задніе». Бывало чуть замѣчу вдали на тротуарѣ превосходительное шествіе, тотчасъ же юркъ, или въ боковую улицу, или подъ ворота перваго дома, и тамъ пережидая прохожденіе превосходительнаго Юпитера черезъ тротуарную орбиту моего собственнаго прохожденія. И такимъ образомъ избѣгаю